

Помнится, у себя дома, в Киеве, на улице Карла Либкнехта, как драгоценную реликвию показывал Александр Евдокимович Корнейчук необычный подарок новороссийских водолазов. То были две потемневшие от времени небольшие металлические пластинки со служебными надписями, снятые с котельной установки старого миноносца, поднятого со дна Черного моря.

— Для меня это дороже любой рецензии, — говорил драматург.

Шесть водолазов — они так подписались под письмом Корнейчуку: Чебаненко, Мазов, Крячков, Ледков, Синявский и Лысенко — прислали из Новороссийска в Киев сувенир высокого смысла.

...С морского дна поднят боевой корабль, живо напоминавший о прошлом. О том, как в тяжелую пору гражданской войны по ленинскому распоряжению в Цемесской бухте была потоплена эскадра Черноморского флота, которую пытались захватить войска интервентов.

И вот через долгие годы, подняв миноносец «Фидониси», водолазы вспомнили драматурга, еще в дни своей молодости посвятившего кораблям революции, «Черного моря краснофлотцам» героическую драму «Гибель эскадры», прошедшую по сценам чуть ли не всех драматических театров страны.

Своим трогательным душевным актом морские водолазы, — хотя и не склонные к эстетическим умозаключениям, — подтвердили существенное положение материалистической эстетики. Они сказали о действительной силе гармонической взаимосвязи художественного творчества с действительностью.

О человеке счастливо сложившейся судьбы иной раз скажут в народе — он родился в сорочке. Не так ли можно сказать и о Корнейчуке? Только потребуется при этом малое добавление: он родился в сорочке драматурга. Сказано это не ради красного словца. Корнейчук действительно был рожденным драматургом, обладал редкостным даром истинно театрального писателя, подлинного человека театра.

А дар этот и на самом деле редкостен. Непререкаемый театальный авторитет — Владимир Иванович Немирович-Данченко утверждал, что писателей, обладавших таким даром, можно сосчитать по пальцам. К ним, немногим, он причислял и автора «Гибели эскадры».

Это был драматург особой, завидной судьбы. Написанные им пьесы по объективной своей сути становились правдивыми художественными документами нашего времени. Корнейчук обладал талантом подлинного народного писателя. Поэтическое слияние души художника с душой народа и придавало его драматургии неотразимую силу и обаяние жизненной достоверности.

Не каждому литератору дано было пережить то, что выпало на долю Александра Корнейчука. Люди верили ему. И не только верили — они узнавали себя, своих близких, товарищей, современников в персонажах его пьес.

И сколько было тому волнующих, трогательных, необычных свидетельств. Читал я письмо школьницы, что настоятельно расспрашивала драматурга после того, как увидела на сцене его пьесу «Страница дневника», о своем отце, не вернувшемся с войны. А драматург ничего о нем не знал и не слышал. Только именем — Иван Весна, — данным им солдату, о котором шла речь в пьесе, невольно напомнил дочери о погибшем отце.

Так велик у нас авторитет литературы!

Милая украинская школьни-

ца Надя Весна не могла даже представить себе, что автор взял да придумал для персонажа своей пьесы имя, случайно совпавшее с именем ее отца.

Какая наивность! — можно сказать по этому поводу.

А не лучше ли, не справедливее было бы сказать тут поиниому: какая вера! Какая прекрасная, убежденная вера слову писателя!

Такую веру способна была пробуждать драматургия Александра Корнейчука, воспринимая в народе как правдивую художественную летопись народной жизни. Сколько людей — об этом не раз рассказывал Александр Евдокимович — заявляли о своей причастности к его драматургии. Особенно поразили один его рассказ.

Это был рассказ о том, как в пьесе «Мои друзья», в одном из ее персонажей узнала себя немолодая украинская женщи-

*Литер. Россия, г. Москва №47*  
**страницы воспоминаний 22 ноя. 1979**

# РЯДОМ С ГЕРОЯМИ

*картинка Т. Твардовский*  
**Николай АБАЛКИН**

на, бывшая в годы войны в партизанском отряде Дубового в Холодном Яру.

При встрече с писателем незнакомая ему женщина все допытывалась у него:

— Кто это из наших хлопцев, товарищ писатель, рассказывал про меня так точненько?..

А Корнейчуку никто и ничего про нее не рассказывал. И встретился он с ней впервые совершенно случайно — в лесу под Каменкой. Но как убедить в этом жену лесничего, бывшую партизанку, если услышала она в пьесе такие свои слова:

— Бывало, окружат немцы с полицейскими, а я варю борщ для ребят. В одной руке черпак, а в другой граната. Вокруг ад, а я на посту, да еще и пою «Ой, туманы мои, растуманы». Ух, как за это любили меня в нашем отряде!

Нужно ли говорить, что слова Варвары из «Мои друзья», от первого до последнего, принадлежат драматургу, им написаны, им придуманы. Но в словах этих так «точненько» угадано им поведение, внутреннее состояние героических партизанок минувшей войны. Поэтому и узнала себя в его пьесе «Партизанская мать» Галина Степановна Лисаченко из Каменки.

Ныне принято считать так: ежели есть в пьесе всякого рода документы — письма, речи, донесения, стенограммы, допросы, — значит принадлежит она к жанру документальной драматургии.

Но как документальна, художественно документальна драматургия Александра Корнейчука и без этих признаков документальности — писем, речей, донесений, стенограмм, допросов.

У летописца народной жизни сама его летопись становится подлинным художественным документом эпохи. И нет в этом ничего удивительного. Так повелось в литературе еще со времен Гомера.

## «БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ» В ЯЛТЕ

В Тбилиси в дни юбилейных торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения Шота Руставели\*, подошел ко мне молодой западный журналист. Его интересовало мое мнение о советской поэзии, спрашивал он, кого я считаю лучшим нашим поэтом. По его поведению нетрудно было догадаться, какого он ждет ответа, — ему хотелось услышать от меня имя модного тогда молодого литератора, о котором много трезвонили у них, — но пришлось его разочаровать:

— В нашей поэзии поэт номер один — Твардовский...

Журналист вежливо поблагодарил за данное ему интервью, но вряд ли оно пригодилось ему.

Может показаться, что для поэта номер один Александр

спокон

в ней за далью — даль... Мы встречались от случая к случаю — в редакции, на съездах писателей, в санатории, на каком-нибудь совещании, и все было обыденно и просто, ничто не выдавало в облике его каких-то примет большого поэта большого нашего времени.

Спросишь при встрече:

— Ну, как?

— Дышится хорошо, полной грудью.

— А перо?

— Что ж перо!.. Как это — рука к перу, перо спешит к бумаге...

Потом спросишь в другой раз:

— Ну, как?..

— Я ненадолго уединяюсь в келью. Такой неожиданный интерес проявлен к написанному, что вынуждает меня застесаться за стихи...

— На недельку, две?..

— Да может быть, и побольше. Но я буду в пределах допустимых: не зрительных, а телетайпных.

— Вот так и входят прозаизмы в язык поэта номер один.

А поэт номер один только усмехается в ответ.

Добрые отношения наши определялись «Правдой». В ее интересах было, чтобы все выходящее из-под пера поэта появлялось в газете. Твардовский ценил эту заинтересованность его творчеством и обещал:

— Мимо хаты «Правды» ничего не пронесу...

Так и было у нас одно время: действительно, мимо редакции ничего не проносил.

Вспоминается зима пятьдесят восьмого года. Он писал той зимой из Ялты:

«Спасибо за письмо. Я очень рад тому, что отношения с «Правдой» становятся все более дружественными и доверительными.

...Благодарю Вас за Ваши добрые пожелания моему ялтинскому перу. Что касается «значительного», как Вы гово-



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ и Н. А. АБАЛКИН в редакции газеты «Правда».

Трифонович Твардовский был слишком уж традиционен. А не в этой ли именно приверженности и сказалось чудесное обаяние самобытной его поэзии?

Достойный наследник литературы классической, поднимался поэт к классике социалистического реализма.

Сын смоленской земли, привел он в поэзию своего земляка, истосковавшегося по мужицкому счастью, — Никиту Моргуна. А за ним, пришел срок, с той же смоленской земли, может быть, даже из колхоза Никиты Моргуна предстал перед белым светом бывалый солдат Василий Теркин.

В ряд с ними, с двумя народными героями, встал и сам лирический герой поэзии Твардовского. Пытливо и мудро вглядывался он в просторы родной земли, открывая

\* Так уже принято говорить — со дня рождения. Но кто назовет нам день рождения великого мека из Рустави. История промолчала о том...

рите, то не мне судить, но мне кажется, что глава «Далей» «Фронт и тыл», которая у меня сейчас в отелке, не будет незначительной».

Та памятная ялтинская зима была для Твардовского словом прекрасная, вдохновенная «болдинская осень». Он много и хорошо писал тогда — «отписывался» после поездки в Сибирь. В «Правду» шли от него стихи за стихами.

«Посылаю новые стихи «Разговор с П дуном». Они примыкают к тому же сибирскому циклу, что и прежние из появившихся в «Правде», но, как мне кажется, более серьезные. Я был бы очень рад видеть их на страницах газеты, но, если по каким-либо соображениям они не подойдут, то, как всегда, у меня одна просьба: уведомите меня об этом, чтобы я мог располагать ими.

«От Иркутска до Братска» не портило новогоднего номера, но там есть одна присорбная опечатка: «Буреломы да годы» в. «Буреломы да ГАРИ». ГАРЬ — где прошли таежные пожары. Обидно, что и на редакцию не могу попенять — сам просмотрел, вычитывая рукопись».

После того, как его «Разговор с П дуном» появился на газетных страницах, он писал:

«Большое спасибо за полную текстуральную сохранность «Разговора» в напечатанном виде. Даже опечаток я не приметил ни одной. М. б., стоило отбить некоторые строфы, но я догадываюсь, что стихи по объему просто с трудом втискивались в отведенное им пространство».

Насколько я могу судить, по имеющимся у меня данным, стихи получили хороший резонанс.

Посылаю Вам стих. «Еще о Сибири», — заглавие Вам покажется нарочито прозаическим, но я просил бы оставить его, — оно не только связывает стихи со всем циклом, но и имеет смысл и окраску, соответствующую отчасти публицистической предназначенности их».

Предназначенные поначалу для газеты стихи той ялтинской «болдинской осени» принадлежат ныне к избранным страницам столь близкого нашему сердцу лирики поэта.

Как-то при разговоре с Александром Трифоновичем об одном писателе услышал от него:

— Первый парень по деревне, а в деревне один дом. Надо, чтобы кто-то рядом был...

А вот рядом с Твардовским были хорошие люди, хорошие поэты. И он дорожил ими. Помнится, как трогательно дорожил поэт милейшим, вечно беспокойным, непоседливым Самуилом Яковлевичем Маршак.

Однажды, вскоре после того, как Маршак не стало, мы вспомнили о нем в несколько необычной обстановке...

В Москву приехал известный кубинский поэт Николас Гильен, друг многих наших поэтов. По этому поводу посольство Кубы устроило небольшой прием. На том приеме мы и встретились с Твардовским. Уединившись ото всех, мы стояли у раскрытого окна и тихо переговаривались, держа в руках бокалы с легким, чуть золотистым вином.

Вечерние сумерки, тихо спустившиеся на зеленую площадку за раскрытым окном, с клумбой осенних цветов, настраивали беседу на несколько минорный тон. Вспоминаю ушедшего друга, Александр Трифонович говорил о том, что мы еще не создаем пока в полной мере, как значительна эта наша потеря, как долго нам будет не хватать его.

Вспоминаю сейчас ту осеннюю встречу, то, что сказано было тогда поэтом, думаешь о другом — не об утратах. О больших и радостных наших приобретениях...

Ведь боль утрат проходит со временем. И ты думаешь теперь, благодарно думаешь о том, как много приобрела наша литература, как много приобрели все мы с приходом Александра Твардовского в нашу поэзию, в нашу жизнь.

## ПРЕКРАСНАЯ АЛЛА ТАРАСОВА

Москва, Милютинский переулок, 16... Здесь, в двухэтажном особняке, скрытом в глубине двора, находилась некогда Школа драматического искусства. В ней училась милая, застенчивая девушка с большими глазами, удивительно доверчиво вглядывавшимися в мир.

В 1916 году счастливо вышла она из школы всеми признанной актрисой. Ее, восемнадцатилетнюю, сыгравшую всего навсего лишь одну роль в выпускном школьном спектакле «Зеленое кольцо», сравнивали тогда — подумайте только! — со знаменитой, прославившейся на всю Россию Комиссаржевской. В тот же шестнадцатый год в журнале «Солнце России» один из критиков писал о ней:

«Молодежная актриса способна вызвать крик радостного волнения из души людей»...

По-разному, порой очень трудно, даже мучительно, складываются актерские судьбы. Бывает так, что и первая, и вторая, и третья роль так и не предвещает рождения таланта, появления большого артиста.

Но бывает и совсем по-другому — счастливо и радостно. Так было у Аллы Константиновны Тарасовой. С первой же роли в забытой ныне, посредственной пьесе, исполненной в Школе драматического искусства, она заслужила всеобщее признание. И пришедший тогда на школьный спектакль Шалляпин непременно захотел сфотографироваться рядом с юной Тарасовой.

После счастливого того дебюта прошло не так уж много времени. И вот в 1922 году Московский Художественный театр пригласил вчерашнюю ученицу с собой на гастроли в Западную Европу и США.

Во время тех гастролей Станиславский восторженно писал о ней в Москву, Немировичу-Данченко:

«Есть одно радостное явление — здоровая, сильная, умная, темпераментная, готовая смотреть в сущность искусства, та, которая во многих пьесах заменит и Книппер и Германову, чрезвычайно, до последней степени нам необходимая. Это — Тарасова».

В том письме много еще было сказано о достоинствах молодой актрисы... Только что появившаяся на сцене Тарасова стала радостной надеждой Станиславского — надеждой гения. Он боялся, как бы слава, так рано и неожиданно пришедшая к ней, не загубила бы ее, не вскружила бы голову. И он, великий художник, признанный всем театральным миром, заключает пари с молодым дарованием, берет с Тарасовой слово, что она не будет вчитываться в хвалебные рецензии о себе. И Тарасова, доверившись учителю, дала ему слово. О пари с ним она писала родителям в Киев:

«...Вчера у меня был один из лучших дней моей жизни, было открытие нашей 2-й студии, была вся пресса и вообще важная публика, приглашенная Станиславским».

...Публика чудесно все принимала и вообще спектакль имеет большой успех. Сейчас я звонила В. Л., и он мне прочел в «Утре России» рецензию. Вообще пьесу не хвалят, но нас что-то очень хвалят, там обо мне такое написано, что я даже не скажу, и названа молодой актрисой. Ну, это еще не так, но иду к этому. Если хотите, я вырежу и пришлю вам рецензии, но сама в них вчитываться не буду. Станиславский вчера опять при всех за чаем говорит: «Господа, вы свидетели, что Алла Константиновна дала мне слово и держит со мной пари, что она не заважничает». Я это подтвердила...»

Лет десять—двенадцать назад в кулуарах одного театрального совещания мы встретились с Аллой Константиновной. К тому времени только что вышел из печати последний том собрания сочинений Станиславского. В томе том и было впервые опубликовано его нью-йоркское письмо Немировичу-Данченко.

Имея в виду это, весьма легкое для Тарасовой письмо, — она узнала о нем только после его публикации, — я полусерьез, полушутя спросил актрису: «Вы по-прежнему такая же?»

Алла Константиновна, прижав руки к груди, порывисто, взволнованно, словно в эту минуту речь шла о чем-то исключительно важном для всей ее жизни, проговорила: «Такая же, все такая же!» Ее словно испугало, что кто-то может подумать вдруг о забвении ею тех идеалов далекой своей театральной юности, которые так радовали Станиславского.

За пятьдесят с лишним лет служения искусству Тарасова не меняла своих убеждений и принципов — ни художественных, ни нравственных. Из жизни, и в искусстве — от первой роли до последней — она была «все такая же!», какой представил ее Станиславский Немировичу-Данченко в давнем своем письме. Всю жизнь она была актрисой, создававшей, что в театре — в этом мире прекрасного — и самой надлежит быть прекрасной.

Руководитель Школы драматического искусства В. Л. Мзделов.

Такой она и была.

И вот думаешь теперь, в чем же заключена разгадка покоряющей, радостно властной силы искусства Тарасовой?.. В ее талантливости?.. Но разве у нас мало других талантливых актрис? Значит, есть тут что-то и другое. А это другое означает, что за обаянием большого и светлого таланта Тарасовой проступало еще и обаяние ее благородной личности.

Душевные богатства натуры актрисы сказывались во всем ее творчестве. В ролях классического репертуара она выходила на сцену проникновенным поэтом духовной красоты, силы и стойкости русской женщины, ее благородства, высоких нравственных принципов. Ее героини воспринимались как женщины особого склада — «тарасовские женщины».

Каков был для Тарасовой



А. К. ТАРАСОВА в роли Анны Карениной.

идеал сценического искусства, говорит вся его красиво прожитая жизнь. Многие сказали о том и исполненные ею роли актрис. Это роли Татьяны Луговой в горьковских «Врагах», Александры Негинной в «Талантах и поклонниках» Островского, Елены Кручинной в его же комедии «Без вины виноватые».

А если бы пришлось Алле Константиновне появиться на сцене, скажем, в роли французской актрисы Адриенны Лекувер — в посвященной этой актрисе пьесе Э. Скриба, — зажила бы она ее жизнью с такой же душевной полнотой и проникновенностью, как жизнью Татьяны Луговой, Александры Негинной, Елены Кручинной?.. Не думается. Что-то, видимо, помешало бы представительнице «Комеди Франсез» войти в галерею «тарасовских женщин».

О глубоко национальном таланте Тарасовой можно сказать то же, что говорят в пьесе Островского о таланте Кручинной:

«Талант и сам по себе дорог, но в соединении с другими качествами: с умом, с сердечной добротой, с душевной чистотой, он представляется нам уже таким явлением, перед которым мы должны преклоняться».

Вот эти-то качества таланта Кручинной удивительно совпадают с качествами таланта Тарасовой, перед которым действительно можно было преклоняться. Не беспричинно, видимо, Алла Константиновна так любила роль Кручинной, не расставалась с ней чуть ли не всю свою театральную жизнь. По признанию самой Тарасо-

вой, Кручинина надолго стала ее верной спутницей. И что же удивительного, если... две подруги, две актрисы, две женщины в восприятии многих зрителей гармонически сливались воедино.

С какой признательностью, благодарной отзывчивостью говорили об этом сбереженные актрисой письма фронтовиков, и в особенности письма... «Незнамовых» — молодых людей военной поры, потерявших своих матерей. В дни войны прекрасная тарасовская Кручинина воспринималась ими как живой, живущий среди нас человек, как олицетворенный идеал потерянной матери.

...В начале 1973 года в газетах и журналах широко было отмечено 75-летие Аллы Константиновны — выдающейся советской актрисы, удостоенной звания Героя Социалистического Труда. В те дни среди множества очень теплых публикаций была и небольшая статья Михаила Царева под названием «Прекрасная Алла Тарасова», опубликованная в «Литературной России». Так еще у нас не писали ни об одной актрисе, ни об одном актере. Любимица народа — она достойна была такой любви.

В тот памятный день 75-летия я позвонил Алле Константиновне. Она подошла к телефону веселая, хохочущая. Ей радостно было слышать добрые поздравительные слова своих друзей. Высказав все самое доброе, душевное, искреннее, я решился спросить актрису:

— А можно поцеловать Героя?..

— Конечно же, — ответила Алла Константиновна. — Герой такой же человек, как и все...

И снова услышался добрый ее смех. На этом веселом смехе и оборвались наши встречи, наши беседы...

«Прекрасная Алла Тарасова»!.. Она оставалась прекрасной и на последнем, 76-м году жизни. Сама старость словно отступила перед ней, не смея наложить свой отпечаток на нестаревший ее облик.

Она оставалась актрисой до последнего дня своей жизни. В больничной палате Алла Константиновна читала тем, что окружал ее, есенинские строки:

Не жалею, не зову, не плачу,  
Все пройдет, как с белых  
Яблони дым.

Увядаешь золотом  
Охваченный,  
Я не буду больше молодым.

Строфа следовала за строфой... То было — как подумать теперь иначе — поэтическим прощанием с красиво прожитой жизнью:

Все мы, все мы в этом  
Мире тленных,  
Тихо лется с кленов  
Листьев медь...  
Будь же ты вовек  
Благословенно,  
Что пришло процветать  
И умереть.

И как скорбный отзвук последнего выступления актрисы, эти стихи Есенина — уже в другом чтении — в час последнего прощания слышались в траурном зале Художественного театра.

Печальная музыка есенинских строк сливалась в тот час с затухающей музыкой военного марша из чеховских «Трех сестер». Она так щемяще звучала тогда под мхатовскими сводами. А на сцене на огромной фотографии стояла в полный рост неотразимо красивая Тарасова в роли Анны Карениной.

Где-то за сценой невидимый оркестр уходил все дальше и дальше, затихала музыка военного марша, в которую столько лет вслушивалась чудесная, незабываемая тарасовская Маша Прозорова. И в притихшем траурном зале, как когда-то, снова разносились слова Маши — Тарасовой, сбереженные старой пленкой:

— О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсегда, мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...